

Николай Полевой

Рассказы русского солдата



Николай Алексеевич Полевой

Рассказы русского солдата

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=663565

*Русские повести XIX века 20-30-х годов. Том второй : ГИХЛ; М.: Л.;
1950*

Аннотация

«Кажется, это было в 1817 или 1818 году. Мне надобно было ехать в Острогожск и Воронеж; я жил тогда в Курске. До сих пор между настоящими русскими купцами нет обычая ездить на почтовых. Только со времени учреждения дилижансов купцы для езды между Петербургом и Москвою оставили вольных ямщиков и извозчиков. Но в других местах России повсюду они ездят еще на *вольных*, то есть нанимают условною ценою пару, тройку лошадей на некоторое расстояние, где извозчик сменяется, или *сдаёт* ездока другому...»

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Николай Алексеевич Полевой Рассказы русского солдата¹

Богатыри! Неприятель от вас дрожит – да, есть неприятели большие – большие и богадельни – проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежлива, бестолковка кличка, что бестолково выговаривать: край, прикак, афок, ваиркак, рок, ад и проч. и проч. – стыдно сказать.

Поучение Суворова солдатам

Часть первая Крестьянин

«А что, мужичок, как ты поживаешь?» – «А что, родимый, неча господу гневить; не без милости от господу; день прошел, так и до нас дошел...»

Кажется, это было в 1817 или 1818 году. Мне надобно было ехать в Острогожск и Воронеж; я жил тогда в Курске. До сих пор между настоящими русскими купцами нет обычая ездить на почтовых. Только со времени учреждения ди-

лижансов купцы для езды между Петербургом и Москвою оставили вольных ямщиков и извозчиков. Но в других местах России повсюду они ездят еще на *вольных*, то есть нанимают условною ценою пару, тройку лошадей на некоторое расстояние, где извозчик сменяется, или *сдаёт* ездока другому; тот везет его опять известное расстояние и сдает третьему. Так от Тамбова, от Херсона можете доехать в Архангельск, в Казань, в Смоленск. Этот порядок езды идет издревле, с того времени, когда еще не было на Руси ни почтовых лошадей, ни подорожен, и до сих пор сохраняется он между купцами, несмотря на большие неудобства. Главное неудобство то, что ныне, с потерей многих старинных обычаев, потерялись между нашими ямщиками и извозчиками верность данного слова и взаимная честность, по которой за цену, условленную, например, в Харькове, они свято довозили ездока до Москвы и до Вологды. Изменить ее никто не осмеливался. Какой-нибудь ямщик серпуховский, нарушив святость договора, никогда не смел бы потом отправить с своей стороны проезжего в Харьков: в Белгороде каком-нибудь проезжего, отправленного по договору ямщика, нарушителя своего слова, не повезли бы далее, потому что молва из уст в уста провозглашала бы *нечестным* нарушителя по всей дороге; старики положили бы повсюду: по договору такого-то проезжих не возить, и – на тысяче верстах никто не дерзнул бы взять сдачу от негодяя. Все это теперь утрачилось; бедный проезжий подвержен по дороге всяческим

обманам, притеснениям; у него забирают вперед деньги, заставляют его прибавлять, надоедают ему требованиями на водку, везут худо и без русских поговорок, которые услышите от каждого мужика и которых не найдете ни в каком словаре... Да, вы найдете их в книге Пауля Якоба Марпергера «Moscowitischer Kaufmann»,² изданной в Любеке в 1723 году. Автор приложил необходимые для путешественника слова и разговоры на русском и немецком языках. Он был мастер говорить по-русски, как видим из этих разговоров; он уверяет, например, что «покарауль мои сани» по-русски говорится: *stoi taem gdie phzanie stoid*; что *stote gchotsjes potche mutot tawar?* значит: «что просишь ты за этот товар?»; что *Jachotssju Lebie piathog aregchie dam* – «я тебе дам оплеуху» и проч. Вот он, приводя одну русскую дорожную поговорку, рассказывает, что по-немецки это переводится: *fahre geschwind* (поезжай скорее). Без этого *fahre geschwind* вольные ямщики везут вас, как пресное молоко. «Ведь мы не почтовые, а вольные!» – говорит вам ямщик на крик ваш: «пошел» и невольно заставляет вспомнить пословицу: «воля не холя, а добра коня портит». Однакож купцы соглашаются лучше терпеть всякое притеснение, платить дороже, спорить, шуметь, кричать, а не едут на почтовых лошадях. Тут много причин. Во-первых, купец обыкновенно едет целым домом; иногда везет с собой товар, всегда деньги и кучу постелей, подушек, ковров, полстей, подстилок, одеял, запасов, припа-

² «Московский купец» (ред.).

сов, на дождливое время шинель, на холодное тулуп, на морозное шубу; и кроме того, дюжину коробок, коробков, сулеек, погребцов, чемоданов, фляжек, кульков, сум и проч. и проч. Нередко четверо, часто трое, никогда менее двух *хозяев* не сидит в этом подвижном доме, называемом *повозкою*, укрытом, обшитом, обитом сукном, холстиной, кожей, рогожами, обгороженном, загроможденном сзади, и спереди, и на передке коробами и всякою всячиною. Какой почтовый ямщик повезет, даже свезет с места эту громаду – ямщик, привыкший запрягать свою тощую клячу лычком и ремешком, ставить последнюю копейку ребром и столь же мало думающий: снесет ли он завтра свою голову, сколь мало помышляющий о том, как побережь ему седока и свою лошадь! Давай такому ямщику седока лихого, у которого вся поклажа сжалась в маленький чемоданчик, на защиту против ветра и непогоды всего только какой-нибудь клочок сукна или лоскуток бурки; давай ему курьера, который, зацепив трубку зубами, имеет непостижимую способность усидеть на веревочке, и не только усидеть, но и выспаться, пока остов телеги, без подстилки, без крыши, летит на гору и под гору, тощие клячи несутся скорее вихря и ямщик в дыриватом балахоне, иногда в шапке летом, в шляпе зимою, закатывает, хлещет бичом сплеча и в каком-то упоении поет во все горло: *«Ах! Да западала! Частым ельничком, ох! Все безрничком, ох! Да зарастала! Ну! Ну! Ну!»* – Заметьте, когда встретится вам в дороге эта отчаянная гоньба и вместе с

нею повозка на вольных – разница между ними такая же, какая между толстым откупщиком и отчаянным посетителем питейного дома. Почтовый ямщик награждает свою плохую наружность тем, что во всю прыть мчится мимо дорожного барина – огромной повозки, запряженной тремя огромными лошадьми, с дюжим ямщиком в красной рубахе, с тремя колокольчиками на дуге, с медными бляхами и погремушками на сбруе. Спорым, но тихим и ровным шагом ступают между тем лошади вольного; из повозки его выставляется борода купеческая, пробужденная мимолетным визгом, и из подушек красноватое лицо глядит: кто это промчался мимо, и уже вдали, в облаках пыли? – Во-вторых, тяжело ездить на вольных нашему брату, не дорожному, домоседу, но легче купцу, который по одной дороге из Москвы в Харьков, Ростов, к Макарию, из Вологды, Курска в Москву едет в сороковой раз, иногда ездит по два, по три раза в год. Ему все знакомо по дороге; его везде знают, принимают, растворяют перед ним ворота; кланяются ему, ведают его имя и имена отца его и дедушки его; перед ним ставят хлеб, соль; все дородные хозяйки и хорошенькие их дочери известны ему по именам; он знает, где надобно побережься, где остановиться, где побраниться, где подарить, поласкать. Вот он, например, на постоялом дворе в какой-нибудь *Лопасне, Ивановке, Липцах, Красной слободе*; перед ним на столе кипит огромный самовар, лежит московский калач, расставлены, гжельские чашки, кулек с икрой, балыком, сайкою – ведь постных дней

у нас две трети в году. И краснея и потея, в светлице *старого знакомого*, ямщика, он располагается господином, пьет, ест, закусывает, шутит, говорит, договаривается, спорит; и он и хозяин называют друг друга *приятелями, знакомыми*, величают по имени, по отчеству; оба клянутся, что сказывают *крайнюю и последнюю* цену, указывают на образ Николая чудотворца, ссылаются на худые кормы; хозяин спорит, что *обрезные* червонцы, какими платит проезжий, совсем не в ходу; тот утверждает, что везде их берут, что других денег теперь в целой Москве нет. И вот они поспорили, уверились, что нашла коса на камень, утвердились во взаимном уважении к ловкости и уму один другого и, наконец, поладили; повозка подкатилась, и купец беспечно залег в свои подушки и перины до нового знакомого, где переменяет он лошадей с прежними обрядами, спорами, уговорами, божбою. Возможно ли вообразить такого ездока, приехавшего на почтовую станцию, где 14-го класса смотритель сухо, без всяких возражений ответит ему: «*Нет лошадей!*», а смотрительша в чепчике и запачканном длинном платье, пользуясь задержкою, предложит тощий кофе, пока общипанный почтовый староста, почесывая голову, спорит, что уroda, повозку приезжего, с места не стянут три лошади и что на трех седоков велено по указу припрягать четвертую лошадь... Где поэзия самовара, ласковой хозяйки, калачей, сайки, икры? Вы знаете, что на почтовой станции надобно все покупать у смотрителя, а без того...

Но — я чувствую, что к старости становишься болтлив, особенно вспоминая что-нибудь из своей молодости: начал о том, как мне надобно было лет семнадцать или шестнадцать тому ехать из Курска в Острогжск, а заговорил об ямщиках, о почтовых станциях. Впрочем, лишнее слово, только бы не в осуждение ближнего, право, не беда. Люблю широкий, просторный рассказ, где всякой всячине свободно лечь и потянуться. А притом, может быть, не всякому знакомо то, что я рассказывал, и я dokonчу, как пошел рассказ мой, тем, что таким-то образом до сих пор сохраняется у нас на Руси особенное братство ямщиков и проезжих, с своими тайнами, не меньше *ложных* тайн какой-нибудь Шотландской Звезды. В каждом городе значительном есть особые Ямские, где живут ямщики и где у них свой мир, свои нравы, обычаи, обряды. В Москве таких Ямских слобод несколько: *Тверская, Переяславская, Рогожская* и проч. Подите туда: это не Москва, это какой-то особенный город; иначе дома построены, иначе люди живут, одеваются, говорят; это такие уголки в Москве, где всего более сохранилось донныне *русской старины*, хотя и там уже дома перестраиваются и старая Русь пропадает вместе с появлением бритья бород, рестораций, французских хлебов, немецкого платья и гильдейского честолюбия. Но отсюда выходят все эти бесчисленные, бесконечные обозы; отсюда выезжают купеческие вольные тройки; здесь теснятся все приезжающие в Москву ямщики и извозчики; здесь можете подрядить тысячу телег хоть до Одессы и до

Архангельска; можете нанять извозчика куда угодно – только не далее пределов русского царства и не в царство небесное. Вам дадут тройку жирных огромных лошадей, и если у вас нет своей повозки, то и с огромною ямщицкою повозкою, укутанною рогожами, с резным задком у кибитки, выложенным разноцветною фольгою, и повезут вас *в Питер, Курск, Смоленск, Володимер*, останавливаясь на своих особенных станциях и минуя почтовые. Ехавши в Курск, вы проедете мимо Подольска и остановитесь в *Лопасне*; ехавши в Петербург, мимо Черной Грязи, в селе *Чашиникове* – 40 верст от Москвы; здесь ямщик даст *вдохнуть* своим лошадям и повезет вас до *Клина*, а от Клина на свежей тройке вас доставят *не кормя* в Тверь и *поставят* в условленный час, по договору, в тамошнюю Ямскую, минуя замаранный тверской *город Милан*, где с тощим животом вы любуетесь на изображения из Шекспировых трагедий и не можете решить: что тут хуже – чай, кофе или обед?

Ямские слободы, сказал я, есть у нас во всех значительных городах; но ямщики некоторых городов особенно славятся своими лошадьми, своим достатком, своею ездою. Таковы ямщики *московские, коломенские*; ямщики *курские* также знамениты. Любо посмотреть на их опрятные высокие дома с кровлями почти перпендикулярными, с раскрашенными окнами, с крытыми обширными дворами, где все завалено кибитками, ободьями, рогожами, колодами, дегтярными бочками, телегами и где останавливаются обозы и иногда

тесно бывает от возов и лошадей; любо посмотреть и на самих ямщиков, крепких, сильных, здоровых, рыжебородых, под пару их дюжим лошадям, которые могут выехать 80, 100 верст в сутки, которых хозяин бережет и лелеет, как друзей. Странна жизнь ямщика: спокойно сидит он у ворот своего дома в кругу соседей на при-лавочке, толкует, дремлет после сытного обеда или отдыхает, проглотивши дюжины две чашек чаю, – приходит человек, и через два часа ямщик уже помолился богу, надел дорожный зипун, простился с родными; и через несколько часов еще он уже катит на тройке своей по Московской, Арзамасской, Воронежской дороге или тихо переступает подле *обоза*, который отправился в Бердичев, в *Адесту*, в *Липецк*, если угодно, или *Бериславль*, *Королевец*. Прежде, когда многие курские купцы торговали за границу, Лейпциг, Бреславль, Кенигсберг были знакомы курским ямщикам так же близко и коротко, как их соседка, Коренная ярмарка. Мне случалось видеть и возвращение ямщиков домой. Ничего, никто не кричит от радости, от удивления о том, что отец, брат, сын воротился после полугодового отсутствия. Спокойно убирают, поят лошадей, и, сытно пообедавши, прохрапевши часов пять с дороги, ямщик, между прочим только, рассказывает товарищам, сидя вечером у ворот, и то если спросят его: «*А што, таго, где ты бывши?*» – рассказывает, что он *ездил* в Одессу, а оттуда *наняли* его в Николаев; потом *довелось* в Астрахань; там *вышла* работа в Эривань, а оттуда он *взялся* свезти ездока на дол-

гих в Тетюши, из Казани *наложил* товар до Москвы и потом через Рязань приехал домой. Другие не дивятся нисколько, а через сутки, пожалуй, приезжий ямщик наймется опять хоть в *Аршаву* (Варшаву).

На *долгих*. – Знаете ли, что это такое? Это значит, что вас договариваются в положенный срок довести от одного места до другого на одних и тех же лошадях, останавливаясь ночевать и *кормить* лошадей по дороге. Кому некуда спешить, такая езда, особенно летом, особенно в обществе добрых товарищей, беспечна и весела. Так, на ярмарки большею частью купцы ездят на *долгих*, и иногда собирается их по 10-ти, по 20-ти троек. В таком случае останавливаются ночевать и обедать обыкновенно вне селений, где-нибудь под лесом, на берегу реки, и – тут полный досуг русскому духу и дорожному досугу! Все забыто – и барыш и убыток; разводят огонь, накупают припасов, варят, жарят, кипятят самовары; на разостланных коврах, тюфяках, под *ташами*³, разбитыми в виде палаток, идет ужин, обед; затем следует отдых; кто поет, кто спит, кто спорит, говорит, и часто хор стариков:

Склонитесь, веки,
Все, и со человеки,
К Российской державе,
Ко восточной главе,
Сущей ныне

³ *Под ташами* – под палатками (таша – нарез из холстин).

Во благостыне —

сливается с хором молодежи:

Вы метитесь, улицы,
Вы метитесь, широкие;
Становитесь, города,
Города с пригородочками,
Теремы с притеремочками!

Наступает ночь. Огонь погас, все убрано, снесено в повозки; проезжие крепко спят в повозках, закрытые рогожами и кожами; брезжит восток раннею зарею; ямщики напоили лошадей, впрягли, и с словом: «*Господи, благослови!*» повозки катятся с спящими седоками до первого места, где снова останавливается поезд кормить лошадей, а седоки обедать, прокачавшись, как в колыбели, 35, 40 верст.

Все это изменяется теперь. Но так бывало еще за 20 лет. Я помню это.

Вот, когда мне в 1817 или 1818 году надо было отправиться в Острогожск, — впрочем, не привести бы мне на память читателям эту поездкою того немецкого путешественника, который ездил когда-то на своем веку из Данцига в Штольпе и после того 40 лет рассказывал об этом... Спешить мне было некуда, и я решился ехать на долгих. Притом мне надо было нанять надежного, доброго ямщика, потому что со мной было много денег, а ехал я один. Отправляюсь в

Ямскую слободу. Положение этой слободы и вообще Курска прелестно. Город стоит на горе, которую обтекает река Тускорь, и с некоторых мест взор обнимает пространство, усеянное деревеньками, селами, перелесками, нивами, верст на 20-ть. Если вы будете в Курске, советую вам пойти на берег Тускори к бывшему Троицкому монастырю и полюбоваться оттуда видом на Стрелецкую слободу, окрестности ее и скат под гору к Тускори. Не менее хорош вид и на Ямскую слободу, которая раздвинулась по луговой стороне реки на Корейской дороге.

Но поспешим рассказом. Мне попался здоровый, плечистый рыжий ямщик, взялся ездить со мною, сколько мне угодно, и на другой день в огромной повозке, прочной, крепкой, набитой свежим сеном, запряженной тройкою лошадей, с парюю колокольчиков на дуге, покатались мы с *Васильем* – так звали моего ямщика. Помню это красное лицо, эти плечи, эту голову, где *между глаз* могла поместиться *калена стрела*. Василий был человек лет 50-ти, веселый, словоохотный, большой мастер петь заунывные песни; он выпивал едва не полштофа зелена вина для аппетита и никогда не бывал пьян; ел он ужасно, не спрашивал, что ему давали есть, смотрел только на *количество*, а не на *качество*, мог пить пиво, хлебать молоко, есть рыбу и кислую капусту, пить чай в одно и то же время. Обед оканчивался у него ковшом воды не менее знаменитого Торова рога скандинавской Эд-

ды⁴. После того он ложился спать под повозку, спал, храпел, как Илья Муромец. Но удивительно: этот же человек не знал устали в работе, мог не спать сутки, сидя на передке, верно просыпался, когда надобно было поить лошадей, задавать им овса, и за них готов был он сам отказываться от сна, пищи и питья; и не жаловаться и петь песню под голос своего тощего желудка. Смело можно было при нем не бояться разбойника, оставить повозку, уйти вперед, отстать или спать без просыпа. Василий был удивительно *бывалый человек*; вообразите, что он побывал даже в Париже, подрядившись из Лейпцига в 1814 году везти какие-то казенные снаряды. Он рассказывал... но прочитайте статейные донесения старинных русских послов, например из Италии, о том, как: «Город Флоренск безмерно строен, согражден палатами превысокими, а столпов превысоких, сажень по 50-ти и больше, во Флоренске шесть. А кирки, или *мечети*, зело стройны, и иную делают уже лет 20-ть, а еще делать лет 20-ть, все камень аспид, трут пилами. А стоит город меж великими и высокими горами; а длина градскому месту и с уездом верст 13-ть, а то всё горы. А извычай у жителей такой: мужи и жены честные и дети, ходят все в *скуратах*, сиречь в личинах всяких цветов. Да казали нам казенные палаты, палата с сосудами одно – золотыми и с вещами драгими, кресла княжие с камнем драгим и с жемчугом большим, жемчуг иной в орех есть...» Вот

⁴ *Торов рог скандинавской Эдды*. – Тор – в скандинавской мифологии бог грома. Эдда – памятник скандинавской мифологии.

на это походили и рассказы Василия о *Паризии* и *Леонтьеве* (Париже и Лионе), *Нуници* и *Тавлери* (Нанси и Тюльери). Он сказывал за диво, что французские мужики носят *башмаки деревянные* и называют их *суботы*. Вообще по-французски говорил он довольно порядочно; сказывал мне, что французы называют хлеб *пень*, масло *быр*, воду *ох*; что самая злая брань, если скажешь французу: Наполеон капут; что по-французски: *жонопранпо* значит: «не знаю ничего» (*je ne comprends pas*). «Хороши земли, – заключал он, – да все нехристь, бес их знает, какая; и кто погонится за барышом да поедет в ту сторону, в руках у него будет много, а в кармане ничего». Надобно знать, что путешествия бедного Василья за границу кончились встречей на обратном пути с башкирами, которые от нечего взять отняли у него все деньги и обменяли лошадей его на клячи, так что он едва мог доехать до святой Руси, и то в казенном обозе.

Мы выехали с ним из Курска рано утром; погода была прекрасная, начало июля, небо яхонтовое, поля изумрудные, нивы золотые. Дорога шла между селениями, полями, рошицами; народ был рассыпан по полям; все казалось мне таким веселым, счастливым, цветущим, потому что я сам был молод, здоров, весел, как птица небесная, и готов видеть в каждом человеке друга. Печаль скользила у меня тогда по сердцу, как ласточка нижет мимолетом по земле, а радость выглядывала из-за каждого кусточка и качалась на каждом васильке между хлебными колосьями. Встречи с сельскими

помещиками, с их барынями и барышнями, с лихими кирасирами, квартировавшими тогда в Курской губернии, с купцами, ехавшими с Старо-Оскольской ярмарки, – все это было предметом моего любопытства, наблюдений, забавы, знакомства и проч. и проч.

Надобно сказать однакож, что места, по которым мы проезжали, были в самом деле большею частию удивительно милые. Природа не являлась тут в грозном величии какого-нибудь Кавказа, какой-нибудь Сибири; но зато, как кокетка, наряжалась она в пестрые луга, тенистые рощицы, убиралась живописными селениями, смотрелась в зеркальные речки и змеистые ручейки, расстилалась полосатыми жатвами, загоралась алою, палевою, оранжевою зарею, засыпала под покрывалом ночи, сплошь унизанным золотыми звездами. Помню местоположение *Стужина*, маленького селения, верст 40 от Старого Оскола, – что за прелесть! В длинной ложине, крутоберегой, обросшей кустарником, вьется серебряная речка, и по ней разбросаны хижинки; с обеих сторон дорога в гору, и на этих горах, как шахматы, белеют, желтеют, пестреют бесконечные поля с хлебом. Там лениво тянется обоз малороссиян на волах; здесь раздается песня поселянина; там природа бросила перелесок; здесь человек выставил шпиз церквы и кровлю своего сельского дома. Как нарочно, темная туча всходила вдалеке, и молния дрожала в ней и рисовала свои огненные узоры, когда с другой стороны еще ярко светило солнце между облаками; и эти облака об-

рисовывали собою вокруг солнца исполинские снеговые горы с позолоченными и раскрашенными вершинами. Но еще лучше положение небольшого городка Старого Оскола, где на горе, смотря на реку и на окрестности при заходящем солнце, я, как умел тогда, долго любовался и мечтал, почитая себя поэтом, потому что читал Жуковского, сам кропал плохие стихи и плакал за романами Монтольё⁵ и Августа Лафонтена⁶. И в дорогу с собой взял я, помнится, «Мальвину»⁷ да что-то делилевское⁸: мне хотелось перевести ее... Какой вздор не взойдет в молодую голову!..

Вечером на третий день мы остановились ночевать верстах в 70-ти за Старым Осколом в деревне *Становой*, уже в Воронежской губернии. Это была обширная малороссийская деревня с вымазанными глиною, выбеленными известкою хатами, с малороссийскими нравами и обычаями, и я попал в самое шумное сборище усатой *гетманщины*. У хозяина, где мы остановились, продавали горелку; был какой-то праздник, и что за разгулье, за пляски, за разговоры! На меня сначала посматривали косо, как на *москаля*; но вскоре меня полюбила *казацкая душа*, когда я принялся хвалить ее,

⁵ *Монтольё*, Паулина Изабелла (1751—1832) – французская писательница.

⁶ *Август Лафонтен* (1759—1831) – немецкий писатель, автор многочисленных сентиментальных романов, рисующих идиллические и нравоучительные сцены семейной жизни.

⁷ «*Мальвина*» – роман французской писательницы Марии Коттен (1801).

⁸ *Делиль Жак* (1738—1813) – французский поэт, автор описательно-дидактических поэм.

разговаривать с нею, потчевать стариков чаем, табаком, сам рассказывать о Хмельницком⁹ все, что читал об нем у Голикова¹⁰ и Рубана¹¹, а еще более с любопытством слушать рассказы других. Помню, что моя любезность обратила на себя особенное внимание старого казака *Никиты Шимченка*, с длинными усами, в высокой казацкой шапке, с гордою поступью, с седым *чубом* на голове. Он пил со мною чай, говорил о старине, о переселении острогожских казаков в эту сторону, заставил даже какого-то скрыпача петь и играть, других плясать.

К удивлению моему, Шимченко был даже большой грамотей, восхищался «Энеидою» Котляревского¹² и наизусть читал мне из нее множество мест.

Солнце было еще высоко, когда мы приехали; досыта наговорившись и наслушавшись, я отправился с «Моими безделками»¹³ в руках насладиться зрелищем заходящего солн-

⁹ *Хмельницкий* Богдан (род. в конце XVI века, ум. в 1657 г.) – вождь освободительной войны украинского народа в XVII веке против польских помещиков. Способствовал присоединению Украины к России (в 1654 г.).

¹⁰ *Голиков* Иван Иванович (1735—1801) – историк, автор «Деяний Петра Великого».

¹¹ *Рубан* Василий Григорьевич (1742—1795) – писатель, автор хвалебных од и надписей. Издал ряд сочинений по истории и географии (в том числе об Украине).

¹² «*Энеида*» *Котляревского*. – Котляревский Иван Петрович (1769—1838) – украинский писатель, автор комической поэмы «Енеида *Виргилия*, перелицованная на малорусскую мову» (1798) и др.

¹³ «*Мои безделки*» – сборник стихотворений Карамзина.

ца и гулять по деревне; таков был тогда обычай у всякого, кто почитал себя поэтом; ходил, гулял – наконец сел у ворот одной хаты и размечтался о счастье простой сельской жизни, слыша песни, шум и говор в хате и по улице, видя всюду веселые толпы народа, с гудками и дудками ходившие по улице. Подле меня неожиданно поместился какой-то сосед не малороссиянин, и я обрадовался, увидя *земляка* на чужой стороне. Это был отставной солдат, седой безногий старик на деревяшке; изношенная ленточка с Георгиевским крестом, добрый, веселый вид его, ласковый привет всех проходивших мимо его, что показывало, как уважала его целая деревня, – все это расположило меня к беседе с добрым инвалидом. Он без памяти рад был, встретя такого ласкового, приветливого *земляка*, и беспрестанно называл меня *ваше благородие*.

Я узнал от моего собеседника, что он родом из Курской губернии, из однодворцев, был отдан в военную службу, долго служил потерял ногу в Финляндии, воротился на родину, оставил ее бродил в разных сторонах и наконец поселился в Становой, где исправляет должность волостного писаря, по воскресеньям заменяет должность звонаря и певчего в ближнем селе и решился окончить странническую жизнь свою между здешними обывателями. «Весь хохлацкий народ, *ваше благородие*, и добрее русского; только не тронь их казацкой хвостовни; да и прост, *ваше благородие*, хоть по виду и кажется такой *смышлелый, важный*».

Бесконечный разговор завязался, наконец, между нами. Здравый, простой ум, какой-то философско-комический взгляд на все в мире, особенно рассказы о том, где бывал, что видел, что перенес мой инвалид, заняли у нас несколько часов. Уже свечерел, потух день; прекрасная летняя ночь наступила, ночь тихая, месячная, теплая, после дождя, бывшего днем, а мы все еще разговаривали. Он подробно рассказал мне всю свою историю, все свои похождения. То, увлеченный живостью своего рассказа, вставал он, вытягивался, маршировал, забывая о своей деревяшке; то чертил палкой на песке расположение лагерей, желая дать мне понятие о битвах и сражениях, где бывал; то в унынии умолкал, набивал свою *лольку*, тянул из нее дым и в разлетающихся облаках дыма, казалось, видел прежние, разлетевшиеся дымом годы своей юности.

Добрый старик! Тебя, верно, нет уже теперь в здешнем мире! Если беседа со мною, тогда юным, беззаботным жителем света, усладила твою душу, зато и твои рассказы сильно врезались в мое сердце. И теперь еще ясно могу я представить себе твои седые волосы, твой кровью купленный крест; слышу еще, кажется, стук твоей деревяшки, твой голос; вижу твои выразительные телодвижения, огонь, сверкавший в глазах твоих, когда ты рассказывал мне о гибельных битвах, и слезу, появляющуюся в глазах твоих при воспоминании о родных, некогда близких твоему сердцу; грустную улыбку,

с какую смотрел ты на свое состояние, и улыбку радости, с какую говорил ты об успокоении костей своих в недрах матери земли...

Желал бы я передать другим что-нибудь из твоих рассказов; но тронут ли они других так, как трогали меня? Чем заменить твой вид, твой взгляд, твои движения, твое простое красноречие сердца? Прибавляя что-нибудь *искусственное*, я только обезобразю твое добродушное повествование; но могу ли и *пересказать* так, как говорил ты; могу ли заменить твои поговорки, прибавки, побасенки, и этот смех сквозь слезы, и эти слезы сквозь смех, что так удивляло меня, еще не понимавшего, как можно плакать и смеяться в одно время! И прежде того видал я, что сквозь дождевые тучи светило солнце и радугой перепоясывало полнеба, отражаясь в дожде, падавшем сквозь лучи солнечные. Я не знал тогда, что это всего более похоже на слезы и улыбку человека.

В ближней роще свистал и щелкал соловей; коростель скрипел в отдалении поля; лягушки дробили голоса в своем болотном концерте; заря потухала на одном краю неба и загоралась на другом; иногда глухо раздавался голос кукушки в лесу; люди редели, засыпали. Мой инвалид говорил мне:

– Вы знаете, что у нас в Курской губернии есть много дворян больших помещиков, а еще больше мелких. Есть целые деревни, и большие деревни, где все жители дворяне, и у них, у сотни человек, десять крестьян, и эти крестьяне слу-

жат всем поочередно. Наконец, есть еще у нас что-то такое, не дворяне, не крестьяне, а так, *сам крестьянин и сам барин*, и называется *однодворец*. Говорят, будто это остатки каких-то прежних дворян, потому что у многих однодворцев есть свои крестьяне. Я называл себя однодворцем, как мы все себя называли, а впрочем, право, мы не ведали, что это такое значит, так как мелкое дворянство, жившее вокруг нас, знало о себе одно, что с них *рекрутчины не бывает*. Впрочем, эти высевки дворян жили в таких же хатах, как и мы; так же одевались, так же пахали, сеяли, косили, жали, как все мы; ели по-нашему и пили по-нашему. Одна только бывала беда с ними связываться, что, подравшись на весельи, мы просто мирились на другой день, а дворяне наши непременно подавали просьбу в *бесчестьи*. Кроме того, все у нас было общее, и согласное, и одинаковое; ссорились и дрались мы на межах одинаково, потому что и наши и дворянские поля были пестрее рябой рожи и перерезаны в такие мелкие ремешки и клинушки, что разобрать их не удалось бы самому домовому дедушке, не только земскому суду. После каждой просьбы между нами начинался, однакож, суд, делался судебный осмотр; оканчивалось тем, что выигравший тяжбу должен был продать свой участок для оплаты расходов по суду; на продаже напивался весь мир крещеный, подымалась на весельи новая ссора, за ней драка, и – дело оканчивалось новой тяжбою.

Так жили мы, и дворяне и однодворцы, под одним небом

божьем, жили изо дня в день, и весело, не думая о завтрашнем дне; и житье наше так нам всем нравилось, что поверите ли – многие из наших дворян, прослужив много лет в военной службе, возвращались поручиками, даже капитанами на родину, надевали старые свои зипуны и принимались снова за плуг и соху. Вот было житье: подыми, встряхни, перевероти и вывероти – ничего не выпадет, ни из души, ни из головы, ни из кармана, кроме гроша на вино да краюшки хлеба на сегодняшний день! И чего ж вам больше? Был ли у нас в оный год неурожай, есть нечего – мы занимали у других; отдавали, когда потом хлеб родился, а ведь у бога не положено, чтобы неурожай был всякий год? Итак, барыш и убыток, веселье и горе, сытое брюхо и голодное ездили у нас на одних санях. Ну что же, если не было у нас ничего в запасе, ни лишнего хлеба, ни лишней коровы, ни лишнего гроша, – да на что запас? Мы думали так: «Коли бог создал какого человека, так, верно, в то же время испек для него и краюшку хлеба, которою ему надобно пропитаться в мире; и заботься ли, не заботься ли этот человек, а той краюшке от него не отбегаться ни на краю мира». Приходило горе – на утеху было у нас то, о чем давно сказано, что оно *веселит сердце человека*; приходила радость – всякий просто радовался изо всех сил. А впрочем, ведь и в городах и везде кто плачет, кто скачет; один родится, другой умирает; кто родится, кричит; кто умер, тот молчит. Валилась ли избушка, хозяин подпирал ее жердинкой, говоря: «С меня станет; с мой век простоит, а

там, как сам свалюсь и она развалится, так строй новую, кто захочет». У кого не оставалось ни кола, ни двора, ни поля, ни избы, тот нанимался у других, а стар становился, к работе негоден – ну, просил милостыни и был уверен, что сыт будет, потому что ни из одной хаты не говорили у нас: «*Бог подаст*», а подавали, кто что смог. Когда нам нечего было делать, мы ничего не делали либо спали, а в праздники ходили мы хороводами по деревне, и проезжий какой-нибудь богач, раздумавшись в своей карете, как, поди, завидовал нашему счастью и веселью, слушая наши веселые песни!

Нас было в семье двое. Старший брат Василий да я, Сидор, покорный слуга вашего благородия. Василий был старше меня десятью годами, сын от первой жены. Старику отцу вздумалось жениться на старости, когда первая жена его умерла; от другой жены родился я. Мне и трех лет не было, когда сам старик переселился на божью ниву. Василий с моей матерью стали хозяйничать, – плохое хозяйство, правда, у старой бабы да у молодого парня – ну, что делать! Зато Василья женили рано, и жена его, здоровая баба, работала за трех. Зато с ней была такая беда, что рожала она за трех: в несколько лет у Василья было полдюжины ребят, а им каждый обед надобно было полдюжины ломтей хлеба.

Пока все это так и сяк делалось, я рос своим чередом, и о моем ребячестве многого сказать вам не приходится. Сколько запомню, так сперва лежал я в лубяном коробе, повешенном на палку подле печи, и кричал почти целый день, потому

что меня некому было унимать, да и некогда. Потом ползал я по грязной избе и, взбираясь на лавку, падал, ушибался, плакал; тут высаживали меня на улицу, где, взбираясь на завалину, опять падал я, ушибался и плакал. Иногда подходили ко мне корова, коза, теленок, и, боясь их, я кричал из всех сил, так что слышно было на другом конце деревни. Соседи сидели подле своих хат или шли мимо, да я хоть раскричусь – никому дела до меня не было. Единственным защитником моим была старая хромоногая собака Жучка, с которою делились мы иногда куском хлеба, вместе лежали на солнышке и вместе защищались от коров, телят, козлов, коз и свиней, а в награду я бил Жучку и любовался, как она визжит и ласкается ко мне.

Как уцелел я, как не упал в колодец, который был вырыт подле нашего дома, сруб незакрытый, вровень с землею, как не выклевал мне глаза гусь какой-нибудь или не забодала меня корова, как не сгорел я подле печки и как не раздавили меня возом, когда я выползал на средину улицы и сидел в грязи или играл пылью и пугал мимоходящих куриц и петухов – право не знаю. Но, видно, сам бог хранит крестьянского сына, потому что мы все так росли, как рос я; и потом видал я, что везде наша братья, крестьяне, растут таким образом и вырастают.

Я поднялся на ноги, начал ходить, просить не ревом, но словами, и тут уж мне стало жить и лучше и легче.

Надобно знать вашему благородию, что во всей деревне

нашей считалось дворов с двадцать пять. Все эти дворы были вытянуты под одну кривую линию в два ряда, так что составляли собою улицу, которая, как пьяное капральство, повихиваясь на обе стороны, шла по косогору в лог, где текла маленькая речушка, глинистая, тинистая, почти пересыхавшая летом; но весной она разливалась и затопляла весь лог, так что до самой осени грязь не пересыхала у нас, особливо у гати, обсаженной ивами, где беспрестанно вязли лошади проезжающих и где проезжающие ругали нашу деревню на чем свет стоит. Все дома у нас были черные избы, закоптелые от дыма, покрытые соломой, которую стаскивали мы с крыш в голодный год для корма скотины, а потом подновляли на зиму, если было чем подновить. У редкого двора была огорожа или крытый сарай кругом двора; почти каждый дом был четырехугольный сруб с маленькими двумя окнами на улицу, с пестрыми вокруг них рамками и с пузырем или с обломками стекол, так запачканных, что ночь начиналась в избах наших двумя часами ранее, а оканчивалась двумя часами позже настоящей божьей ночи. К такому срубам приплетались сени, где летом спали мы и держали скотину, где висели у нас веники для бани, стояли кадки, кадушки, лежали дрова – тоненький хворост, который рубили мы в небольшой роще недалеко от нашей деревни. Затем с другой стороны ворот торчала мазаная плетушка для скотины; далее, сзади, был небольшой навес из тычинок, покрытый соломой, для лошадей; затем далее назад пятились овин и гумно, низень-

кие мазанки с соломенной крышею; и все это окружено было поскотиной из палок, и те часто сжигали мы, потому что в дровах терпели большую нужду; соломы едва доставало у нас скотине; гречневую шелуху мы съедали сами, подмешивая с лебедой да с мякиной и посыпая мукой, а другого топлива мы не знали, потому что ничего не слыхали мы об этом от своих стариков. На дворах мы не только не чистили, а еще старались умножить грязь и навоз, потому что этим только и успевали мы вырастить что-нибудь на полях, куда весной свозили все, что накоплялось во дворах наших за целый год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.